

Илья Ильич
Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1961

Илья Ильф Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

И. Ильф

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1923—1929)

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ (1925—1937)

Е. Петров

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1924—1932)

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ (1937—1942)

ОСТРОВ МИРА

ФРОНТОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (1941—1942)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

художественной литературы

Москва 1961

ПЕРЕГОН МОСКВА—АЗИЯ

Последние пакеты и тюки газет летят в темноту багажного вагона. Двери его захлопываются, и ташкентский ускоренный быстро выходит из вокзала.

За Перовым полотно дороги пересекают тонкие железные мачты Шатурской электростанции. Их красная шеренга делает полкруга и скрывается в зеленом лесу.

Поезд идет картофельными полями, под мягким небом. К вечеру начинаются страдания поездной бригады.

— Делегация села!

Беспризорных «делегатов», скромно засевших в угольных ящиках под вагонами, выволакивают.

Но это лишний труд.

«Делегат» от поезда не отстанет. Утром его белая голова, казалось, навсегда покинутая в Рузаевке, сонно и весело трясется на подножке вагона, мотающегося перед Сызранью. Зло неискоренимо. Даровитый прохвост продолжает свое путешествие за рыжую Волгу и далее.

Пропитывается «делегат» тем, что на больших остановках распевает антирелигиозные куплеты:

Поп кадит кадилою,
Все глядит на милую.
Господи, помилую
Степаниду милую.

Среди одичавших в долгом пути пассажиров куплет пользуется громовым успехом. В шапку «делегата» обильно падают медяки.

Проходят в небе антенны мощного оренбургского радио. Стрелочник-киргиз в войлочной шляпе провожает поезд на выходной стрелке. У него желтое лицо, черные прямые волосы и толстые губы. Поезд идет уже по территории Казахстана.

От московских облачных, лепных небес нет следа. Над огромной республикой киргизов блещет вечное солнце.

Круглые юрты кочевников стоят в необозримых ковыльных степях. Легкий ветер трогает пушистые стариновские бороды ковыля, раскачиваясь, проходят верблюды, и цветными кучами рассыпаны стада.

Перевалив Мугоджарские горы, поезд входит в пески. Ослепительно и невыносимо для глаза горят на солнце кристаллы пересохших соляных озер. Поросли потерявшей цвет клочковатой дряни прерываются темно-синей неподвижной громадой Аральского моря.

Станционные бабы торгуют трехаршинными осетровыми балыками и засушенным до полного одеревенения лещом — самым соленым товаром, какой только можно найти в этой горько-соленой стране.

Но жирные, лоснящиеся на доведенном добела солнце, рыбы привлекают немногих.

Пассажиры набрасываются на кумыс и ледяное кислое молоко. Замаранный по уши кочегар спрыгивает с паровоза и бежит к молоку. И сам дежурный по станции на минуту свертывает свои флажки и глотает чудесное холодное месиво.

Дальше степь все бурее, становится какого-то верблюжьего цвета и, наконец, переходит в перворазрядную, захлебывающуюся в горячем ветре пустыню.

В палящей тишине поезд пробегает свои перегоны. Здесь станции стараются возможно больше окружить себя деревьями.

Но полтора десятка насквозь пропыленных деревьев в станционном палисаднике это — неисчерпаемое богатство тени и прохлады.

Этим станциям завидуют, туда мечтают перевестись, потому что есть станции, где всего пять акаций, есть разъезды с одной только акацией и есть разъезды, где не растет ничего.

Такой разъезд подвергается казни жаром и светом по восемнадцать часов в сутки.

Ночью, на третьей сутки дороги, поезд проходит станцию Джусалы, втягивается в огромное болото Бокалы-Копы и подвергается нападению бесчисленных комариных шаек.

Стодвадцативерстные владения лихорадки, ее стоячие воды, поросшие мерзкими зелеными волосами и камышом, ужасны. Поезд баррикадируется, поднимает оконные рамы и даже тушит свет. Но все это не в помощь.

Дохнувший во тьме и духоте пассажир все же слышит похоронный комариный звон над своим ухом. Комары ворвались в вагоны через тамбуры, через незавернутые вентиляторы, и изъязвленный пассажир, много еще дней спустя, глотает горьчайшую хину и ждет приступа малярии.

Поезд не спит всю ночь, отчесываясь от комаров. И волей-неволей бессонные глаза глядят сквозь окна на переливающуюся неровным светом карту звездного неба.

Пятое утро начинается станцией Арысь и захватывающим всесторонним жаром. С безумного неба льется не свет, а горячая, вплотную обтекающая тело, лава.

На станциях исчезает даже кислое молоко. Тут продают связки черепаховых щитов, живых черепах и черепахи яйца.

На всем восточном горизонте лежит белая, железная вата, снеговые отроги Тянь-Шаньского хребта. Впереди всех матовым и молочным светом сияет двурогая вершина Казы-Курта.

Это местный и по счету кажется уже десятый на земле Арарат. Жителями выдается за место остановки Ноева ковчега. Событие маловероятное, хотя еще и теперь киргизский певец, играя на домбре, подробно перечисляет всех животных, спасшихся в Ноевом корыте на вершине Казы-Курта.

Поезд медленно пробирается среди откосов красной глины, беря последний подъем перед Ташкентом.

Белый пар бежит по засохшим склонам. Реомюр в тени показывает 37°.

Это последнее усилие пустыни. Катясь по склонам Дарбазы, по сотне мостиков, пересекая оросительные каналы, поезд влетает в изумительный темно-зеленый и дышащий зеленью ташкентский оазис.

Горизонт застилают темные массивы пирамидальных тополей. Пепельные финиковые деревья блаженно жарятся на солнце. Качаются и шумят высокие стены джугары — тропического проса. Адские пески сразу переходят в ветхозаветный рай.

Проезжают арбы на тонких, величиной с мельничные, колесах. Мелкими шажками бегут крохотные ослики, с невероятным терпением вынося на своей спине многопудовых толстяков в снежных чалмах.

Но поезду нет удержу. Мимо библейских глиняных построек, мимо древесных кущ и рощ поезд продолжает свой путь за Ташкент.

Под утро дорога вступает в ущелье Санзара — единственный проход сквозь горы Нура-Тау, древнейший путь торговцев, полководцев и завоевателей.

Справа на утесе высечены две арабские надписи. Нижнюю из них приводим в сокращенном виде:

«Да ведают проходящие и путешествующие на суше и воде, что в 979 происходило сражение между отрядом тени всевышнего великого хакана Абдуллахана в 30.000 человек боевого народа и отрядом Дервиш-хана и Баба-хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50.000 человек и служащих людей до 40.000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дештикипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно».

Хвастливая запись «счастливого обладателя звезд» задела тщеславие русского царя, и над арабской пу-

таной вязью утвердился толстый позолоченный орел и надменная медная доска:

«Николай II 1895 г. повелел: «Быть железной дороге». 1898 г. исполнено».

В февральскую революцию медная эта глупость была сорвана рабочими руками тех, о которых никто не писал на порфировых скалах, хотя именно они пеклись живыми на прокладке полотна Среднеазиатской дороги.

Поезд гремит по мостику над арыком Сиаб. Пройдя лежащие расколотыми зеркалами затопленные рисовые поля, он шумно подходит к Самарканду, «лику земли», как звали его мусульманские писатели, древнейшему городу Средней Азии, история которого потерялась в тысячелетиях и теперь начинается снова словами:

«Столица Узбекистана».

ГЛИНЯНЫЙ РАЙ

Трамвая в Самарканде нет. Его заменяет доблестно отслуживший все сроки на афганской границе и только в прошлом году оттуда привезенный паровичок. Вагончики кладают по узкой колее и стремглав несутся в город.

Европейские его улицы затемнены аллеями мачтовых тополей и, утверждают, прекрасно шоссированы. Так ли это, узнать невозможно, потому что они покрыты трехдюймовым пластом пыли.

В этих районах библейский бог создал Адама, первого человека. Поэтому не стоит удивляться тому, что старик лепил его из глины. Здесь нет другого материала.

Весь старый город слеплен из глины.

Узкие улицы зажаты среди высоких глинобитных заборов, дувалов. Дома с плоскими, соломенными, залитыми той же глиной крышами выходят наружу только глухими своими стенами.

Все окна и вся жизнь обращены внутрь, в крошечный рай из десятка виноградных лоз, двух абрикосовых и одного тутового дерева. Улице остается только висающая занавесами пыль и ошеломительное солнце.

В рыках, по которым лениво тащится серая вода, плещутся мальчишки-узбеки. Головы у них спереди начисто выбриты. На затылке волосы оставлены и за-

плетены в дюжину тонких и крепких, как шпагат, косичек.

По двое на некованом коне проезжают великолепные всадники в цветочных халатах и на диво скрученных чалмах.

Передний из них держит в губах розу. У второго роза заткнута за ухо. Они подпоясаны пестрыми ситцевыми плакатами, важны и спокойны.



Ушастый, большеглазый ослик тащит на себе полосатые переметные сумки, гору зеленого клевера и почтенного волхва. В одной руке старца палочка, которой он поколачивает ослика по шее, другой он держится за свою бороду алюминиевого цвета.

Под стенкой проходит женщина в голубоватой парандже — халате, одетом на голову. Лицо ее закрыто черным, страшным покрывалом, густо сплетенным из конского волоса.

Она обута в ичиги, мягкие сапоги без каблуков, и поверх их — в кожаные, остроносые калоши. Мрачная

ее фигура исчезает в водовороте пыли, поднятой проезжающей арбой.

Случайное оживление на улице кончилось. Пыльные клубы тихо опускаются наземь. Над головой висит настойчивое и мощное солнце.

Больше ничего.

Это Иерихон и Вифлеем. Это времена Авраама, Исаака и Якова. Этому тысяча лет или две тысячи.

— Среднеазиатские республики,— говорил нам в поезде, довоенно и по-петербургски картавящий молодой человек,— это ветхий завет плюс советская власть и минус электрификация.

О существовании советской Азии мы поговорим после. Сначала посмотрим Азию такой, какой она была и наполовину есть еще сейчас.

Улицы старого города пусты, и смотреть там не на что. Они показывают только верхушки своих райских садов и плавающих в пыли девочек с бровями, соединенными в одну толстую, синюю черту, и красными, крашеными ноготками.

Вся наружная жизнь города стянута к базару. Путь туда лежит мимо Гур-Эмир, могилы повелителя.

Железный Хромой, Тимур-ленг, или, как его называют европейцы, Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшенного синими и голубыми поливными изразцами.

С ковра на каменном полу подымается узбек, зажигает керосиновую лампочку и ведет в сводчатый холодный подвал.

Тимур, в четырнадцатом веке начавший свою карьеру главарем шайки и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой желтоватого мрамора. Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура.

У обнаженных кирпичных стен покоятся сыновья завоевателя, его внуки, его министры, учитель и сын учителя, весь аппарат власти жестокой военной империи, разлетевшейся в пыль после смерти Железного Хромого.

В верхнем помещении над могилой Тимура лежит темно-зеленая, распиленная надвое (ворами, которые хотели ее украсть) плита из нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был привезен из Кистайского Туркестана.

Базар начинается неподалеку от ив и карагачей, окружающих Гур-Эмир.

Над всем этим местом стоит непрерывный и нервный рев ослов. Всегда грустные верблюды прокладывают себе дорогу среди толпы. Медлительно тарахтят арбы. С бьющими наверняка, мучительными интонациями в голосе побираются величественные нищие. С круглого медного подноса продают вялые розы.

Весь базар похож на поднос с перелачканными розами.

Чалмы белые, пестрые и огненные мешаются с киргизскими войлочными шляпами, расшитыми черным орнаментом.

Затканые золотыми нитками тибетейки сверкают на солнце быстро переливающимся светом.

Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого на голову яркого зеленого халата. Ислам наложил свой отпечаток даже на эту, обычно туго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские еврейки покрывала не носят, но при мусульманах лицо закрывают.

К текущим лавой разноцветным толпам подъезжают все новые конные группы. Сегодня базарный день. Тонколицые горные таджики разгружают своих верблюдов, и по боковым улочкам, выбивая копытами непроницаемые пыльные завесы, движутся стада курдючных баранов.

Внезапно воздух наполняется нестерпимой вонью. Это подул ветерок от лавочек, торгующих местным, похожим на головки шрапнелей мылом.

Медные ряды оглушают звонким клепаньем молоточков: чеканят блюда, чайники и кумганы.

Половину базара занимает торговля московскими, пестрейшими ситцами. В лавочках тесно. Кипы мануфактуры стоят корешками, как книги на библиотеч-

ных полках. Пробриться в эти ряды почти невозможно. Уж с прохладного рассвета они туго набиты покупателями.

В конце главной базарной улицы расположен Регистан. Высоко в небе летают стрижи над тремя прославленными памятниками мусульманской архитектуры. Блещут на солнце изразцовые желтые львы мечети Шир-Дор. Квадратным обжигающим кубом на площади стоит солнечный свет. И выше стрижей, выше голубых минаретов Улуг-Бега мчатся над Самаркандом белокрылые коршуны.

Это добровольный придаток к старогородскому ассенизационному обозу. По мере мощных своих сил они способствуют очищению города от падали.

Чайханы наполняются. В них сидят, подогнув ноги на паласах, коврах без ворса, пьют зеленый горьковатый чай без сахара, едят круглые лепешки и дышат прохладой, которую дает бегущий под ногами арык и тень белой от пыли ивы. Из губ в губы переходит похрипывающий и пускающий белый дымок гилим, кальян.

Против чайханы прямо на земле разместилось точильное заведение.

Полуголый, светло-коричневый старик быстро тянет взад и вперед кожаный кушак, одетый на валик точильного камня. Так «старик-привод» работает до ночи.

Страна почти не знает машины.

И совершенно неизбежно, что в такой стране в машину превращается человек.

Старик давно перестал быть человеком, он только привод к точильному станку.

Людам, мечтающим о «добром, старом времени, когда все было так чудесно», полезно съездить в Среднюю Азию.

Он увидит там тщательно описанный в коране рай, красную глину, идиллические стада, земледельцев, покорных земле, пророкам и муллам пророка.

Но, кроме того, он увидит деревянный плуг, первобытный омач, которым дехкан обрабатывает свое поле. Перед омачом русская соха кажется завоеванием тех-

ники. Глиняный рай возделывается каторжным трудом.

Муллы, бородатые чалмоносцы, бешено вопят при всяком новшестве, и тракторы, маленькие пока отряды советского железа, с трудом пробивают себе дорогу сквозь ветхозаветные толщи.

Но в этой борьбе с тысячелетней косностью на стороне советской машины вся молодая, горячая Азия, проделывающая сейчас тяжелейшую дорогу от родового быта к советам.

Об этом в следующей статье.

1925

АЗИЯ БЕЗ ПОКРЫВАЛА

Тяжелой, гробовой плитой лег ислам на прекрасные народы Азии.

Как солнце и луна, жизнь мусульманина сопровождает коран, сборник откровений Магомета, и шариат, указывающий, как поступать во всех случаях жизни.

Уклонение от шариата есть кюфр, неверие.

Каждый уклоняющийся сейчас же после смерти будет взят в огненный адов переплет.

Ничего не нужно знать и не к чему стремиться. Шариат предусмотрел все, включая способы обработки полей, покррой халата и форму лепешек.

Он убил в мусульманах любознательность, оставил их развитие и создал две страшные язвы: затворничество женщин и многоженство.

Без покрывала, чачвана, ходят только древнейшие из старушек и девочки.

Девочка иногда продана уже с младенчества и знает, что у нее есть муж, в рассрочку уплачивающий отцу калым, цену жены.

Мухадам Сали-Хаджаева жила, как все, и даже хуже всех. Отец и мать ее умерли.

Мухадам осталась одна в отстоящем за пятнадцать верст от Самарканда кишлаке Каш-Хауз, и какая-то старуха из кишлака взяла ее к себе на воспитание.

Воспитывать молодую узбечку недолго и несложно. До и после замужества она остается невеждой. Образование женщины дальше уменья печь нан, хлеб, и тканья маты, грубой и простой платяной ткани — не распространяется. Она низшее существо, и науки не для нее.

Девочка прислуживала старухе и росла.

Ее черная широкая бровь, милое лицо и персидские глаза возбудили в старухе жадность.

— Мухадам можно выдать замуж! Она стоит много баранов!

Девочка отказывалась, плакала и вспоминала отца.

— Ты у меня и дочь и сын! — говорил отец. — Ты всегда будешь со мной и замуж не пойдешь!

Но старуха думала только о богатстве, которое можно получить за девочку. Тогда Мухадам — розовый, черноволосый ребенок — решила умереть.

У торговца галантереей на кишлачном базаре она купила ртуть и влила себе в ухо.

Голова сразу наполнилась необыкновенным шумом. Густая боль засела в черепе. Кругом все смолкло.

Это ей только казалось. По-прежнему скрипели арбы, шумела падающая вода и кричал разгневанный вечной работой ишак.

Мухадам всего этого не слышала от шума в ушах. Вечером она легла спать, зная, что больше не встанет.

Однако утром она проснулась живой и здоровой. Во время сна ртуть вылилась из уха на постель.

Старуха снова заговорила о женихе.

Мухадам хотела броситься в хауз, но стало уже поздно. За ней следили: калым не должен был утонуть.

В кишлаке был клуб, но пойти туда оказалось невозможным, старуха не спала дни и ночи, все следила.

Мухадам терпеливо ждала, и в один из дней ей удалось выбежать из дому.

Чем может кишлачный клуб, настоящий советский клуб, без денег и даже без скамеек, помочь глазастой

девочке, которая решила жить иначе, чем живут женщины ее племени?

— Мухадам, иди в Самарканд, — сказали ей в клубе. — Там есть женские курсы.

И Мухадам, мужественное дитя, пошла пешком по дымящейся дороге в Самарканд.

Всю дорогу она плакала и спрашивала, где женские курсы.

Вечером, когда сгоревшее солнце свалилось в пески, Мухадам прошла затихающий базар, много замощенных кирпичом тротуаров и вошла в белый, одноэтажный дом, занимающий угол Ленинской и Катта-Курганской улиц.

В этом доме помещается одна из любопытнейших школ в мире. Это — центральные узбекские курсы ликвидации неграмотности при Наркомпросе Узбекистана.

Все ученицы этой школы, рассчитанной на то, чтобы в девять месяцев сделать из них учительниц по ликбезу, пришли сюда из кишлаков, и биография каждой из них не легче биографии Мухадам, теперь ближайшей ученицы.

Покрывала Мухадам уже не носит, и можно увидеть ее чудесные глаза, еще красные от плача на самаркандской дороге.

Но среди женщин, пришедших сюда из Ферганы, Хорезма, Кашка-Дарьи и долины Зеравшана, чтобы научиться жить по-советски, самой удивительной представляется жизнь Майрам Шарифовой, или, как зовут ее в школе, «русской Маруси».

Маруся, русская девушка, жила в девятнадцатом году в Оренбурге и, спасаясь от голодной смерти, вышла замуж за таджика Шарифова.

Венчаться пришлось по мусульманскому обычаю. Это не показалось страшным.

Мулла преподавал Марусе необходимое наставление, на полу разостлали дастархан — цветную скатерть, заставленную угощением, пришли гости.

Потом мулла развернул коран над чашкой чистой воды, прочел что-то непонятное, задал полагающиеся вопросы, подул на воду, и венчание кончилось. Гости съели плов и ушли.

В Оренбурге Маруся прожила с мужем два года. Жила, как жила прежде, то есть была совершенно свободна, имела знакомых, бегала с открытым лицом на базар за продуктами, изредка ходила даже в кинематограф.

В двадцать первом году решено было поехать в Ташкент, к родителям мужа.

Их встретили очень ласково, но уже вечером муж завел длинный, путаный разговор, из которого Маруся поняла одно:

— Родители требуют надеть покрывало.

— Я этим ситом из конского хвоста лица не закрою!

— Не надо раздражать отца. Мы не на всю жизнь сюда приехали. Надень чачван. Через два месяца мы уедем в Россию. Будешь ходить как прежде!

Маруся была ошеломлена, но в чужом городе уйти не к кому.

— Потом, только на два месяца!

Она согласилась. Ее нарядили в длинное платье и пестрые шаровары до щиколоток, расплели косу на множество косичек, подарили чачван и серую паранджу.

Двухмесячный срок оказался басней. Даже через пять месяцев они никуда не уехали. За это время Марусю (теперь ее уже не звали иначе, как Майрам) энергично мусульманизировали.

Ее обучали языку и обрядам. А когда она упрямилась, приходил муж и заводил свою шарманку:

— Не раздражай отца! Мы скоро уедем!

В это время Марусю уже нельзя было отличить от настоящей мусульманки. Она научилась скромно и медленно, прижимаясь к глиняным заборам, ходить по улице, дома приготавливала нитки, красила их, ткала мату и, по обычаю, ни одно дело не начинала, не сказав вполголоса:

— Бисм-илля ар-рахман ар-раим! (Во имя бога милостивого, милосердного).

Каждый день Маруся ждала и требовала отъезда. Но на шестой месяц ее жизни в Шайхантур пришло самое худшее.

Муж заявил, что ему надо жениться второй раз.

В четырнадцатом году, когда его, как таджика, взяли на военную, окопную работу, он в городе Ура-Тюбе оставил невесту. Она ждала его семь лет.

— Я должен жениться, чтоб не опозорить семьи. Я этого не хочу, я уеду в Россию. Но это будет позор.

Все семь лет старый Шарифов по три раза в год нагружал на арбу пудовый котел горячего плову, двести пятьдесят лепешек в корзинах и голову сахара. Яства покрывались куском шелка на два платья, и арба торжественно, чтобы все видели, отвозила подарки родителям невесты.

Теперь старик пришел к Марусе-Майрам и стал просить ее не мешать мужу жениться вторично.

И, как это ни странно, Маруся согласилась. Ей стало жалко семь лет ждавшей невесты.

— Может быть, она его видела в лицо и любит. Делайте как хотите. Но я в Ура-Тюбе не поеду. Пусть она приедет в Ташкент и здесь живет.

Но Маруся-Майрам, сама того не замечая, уже катилась вниз и на все соглашалась.

Когда муж женился и вторая жена отказалась ехать в Ташкент, Маруся не нашла в себе силы возвратиться и поехала в Ура-Тюбе.

Хайронисо, вторая жена, встретила ее словами:

— Это наша судьба. Примиримся с нашим положением.

Четыре года обе женщины жили как сестры, но жизнь в затворничестве стала Марусе невмоготу.

Она узнала, что брат ее служит красноармейцем в Полторацке, и написала ему. Брат примчался и, увидев сестру, был потрясен.

Перед ним была мусульманка — женщина, полузабывшая русский язык.

Он уговорил сестру пойти в женотдел. С этого началась обратная дорога Маруси в мир живых людей.

Муж разрешил ей ходить в школу ликбеза, но умолял чадры не снимать. Она ходила туда под покрыва-

лом с мальчиком-проводником и окончила ее в два месяца.

Женотдел несколько раз посылал ее заседательницей в народный суд.

На собрания родители мужа ходить ей не позволяли. Тайно от всех Майрам подала заявление о приеме ее в партию.

На заседании восьмого марта двадцать пятого года, в международный день работницы, на первом вообще собрании, в котором она была, женотдел передал ее в партию, и впервые за шесть лет Маруся открыла лицо, чтобы большими глазами посмотреть на новый мир.

Дома все пришло в смятение. Отец мужа ушел из дому. Его братья вопили о позоре. Сам он молчал. С семьей пришлось порвать навсегда.

Теперь Маруся в самаркандской школе. Она узнала всю тяжесть [жизни]¹ мусульманки и, когда кончит школу, пойдет работать в кишлак, чтобы освободить порабощенную женщину.

1925

¹ Квадратные скобки здесь и на стр. 129, 203, 227, 243, 260 заключают добавления редакции.